

*Интервью с Валентином Григорьевичем Распутиным, отрывок из которого я вам предлагаю, готовилось для Эстонии по их просьбе, поскольку там вышла книга Распутина. В Эстонии же интервью было опубликовано в начале 1993 года в газете «Советская Эстония», которой у меня, к сожалению, нет. Поэтому я сделал перепечатку сего интервью из «Народной газеты» № 29, за 16 марта 1993 года, где оно было опубликовано, но, увы, в сильно сокращённом виде. Но и это какие-то крупницы памяти о нашем выдающемся человеке и прекрасном писателе.*

...Вечером я позвонил по домашнему телефону Распутину, и мы договорились встретиться на следующий день в уютном двухэтажном особнячке сибирских купцов Бревновых, в котором с 1977 года, по адресу улица Степана Разина, 40, и располагается Иркутское отделение Союза писателей России.

Под конец нашего разговора Валентин Григорьевич ещё пошутил, сказав мне: — Я думал, ты серьёзный человек, Володя, а ты разными интервьюями занимаешься...

Итак, следующий день. Я уже на Степана Разина, 40 (пришёл минут на десять раньше назначенного срока), жду Распутина. И, как всегда перед встречей с Валентином Григорьевичем, волнуюсь. Не могу избавиться от волнения всякий раз, когда встречаюсь с ним.

Распутин приходит ровно в три.

Видно, что он простужен. И возможно даже слегка температурит. Щёки розовые.

— **Валентин Григорьевич, вам, я вижу, нездоровится. Может быть, перенесём разговор на другой день? — спрашиваю я.**

— Да нет. Ничего. Терпимо. Давайте уж сегодня поговорим.

Мы уселись в небольшом кабинете редактора журнала «Сибирь» Василия Козлова, в два кресла, между которыми стоял журнальный столик. Владелец кабинета, сказав, что он по делам, вышел из комнаты, оставив нас одних.

— **Вы не против, если я включу магнитофон? (магнитофон у меня был кассетный, японский «Sony», и я им очень гордился), — спросил я Распутина. — Не будет он вас раздражать или мешать своим шипением?**

— Включайте.

— **Валентин Григорьевич, — начинаю я. — Совсем недавно в Эстонии, кажется и на русском и на эстонском языках, вышла ваша книга с последней написанной вами повестью «Пожар». Кроме того, в эстонском академическом театре драмы им. Кингисеппа, в Таллинне успешно идут спектакли, поставленные по вашим произведениям. И это интервью с вами меня попросили сделать для газеты «Советская Эстония». В связи с этим, я хотел бы узнать у вас, какая из наших бывших прибалтийских республик первая перевела ваши произведения на свой язык?**

— Ей-богу, не знаю, — пожимает плечами мой собеседник. — Но, насколько я помню, первыми были, кажется, всё-таки латыши.

— **А в Эстонии вы бывали? — задаю я следующий вопрос. — И если да, то что вам там понравилось?**

— В Эстонии не бывал... — отвечает Распутин.

Ответы на первые два вопроса обескуражили меня. Я отчего-то предполагал, что Валентин Григорьевич непременно должен был бывать в Эстонии. По-видимому, свою любовь к этому краю я перенёс и на него, надеясь, что после общих воспоминаний мы и разговоримся. К тому же мне отчего-то хотелось, чтобы именно на эстонский язык впервые были переведены какие-нибудь его произведения. И, в конечном итоге, всё именно так и оказалось. Первой из прибалтийских республик, которая перевела Распутина на свой язык, оказалась именно Эстония. Ещё в 1967 году в переводе К. Парви в республике был опубликован рассказ «Мужчины» (который вначале назывался «Мы с Димкой» и был опубликован впервые в январе 1967 года в журнале «Сельская молодёжь» в Москве), а затем уже вышел в том же году и в Латвии. Для меня факт первенства Эстонии в чём-то был приятен ещё и потому, что она одна из первых союзных республик СССР приняла закон об охране окружающей среды. Произошло это ещё в 1957 году. В те времена, когда большинство ответственных товарищей в стране с энтузиазмом говорили, и, по-видимому, сами верили в это, о неисчерпаемости природных богатств и необходимости их интенсивного использования. И лозунги о «Покорении природы» почти в любой части СССР были делом обычным и привычным. И как много лет понадобилось многим из нас, чтобы осознать, что это далеко не так...

*«Природа — сама по себе нравственна. Безнравственной её может сделать только человек. И как знать, не она, не природа ли и удерживает в немалой степени нас в тех более или менее разумных рамках, которыми определяется пока ещё наше моральное состояние. Не ею ли крепится наше благоразумие и благодеяния. Это она с мольбой, надеждой и предостережением денно и нощно глядит в наши лица душами умерших и не родившихся. Тех, кто был до нас и будет после нас. И разве мы слышим этот зов?»*

(Валентин Распутин)

В Эстонии этот зов природы, к счастью, был услышан раньше других.

Однако вернёмся к интервью.

**— На какие языки мира, Валентин Григорьевич, были переведены ваши произведения? Ваши книги?**

— На каких языках, где и сколько выходило моих книг, я тоже точно не могу сказать.

**— Даже приблизительно не знаете?**

— Ну, основные языки могу назвать. Знаю, что переводы моих книг осуществлялись в Соединённых Штатах, в Австралии. Значит, на английском языке. На французском языке выходили книги в Бельгии и Франции. (К слову сказать, самая проникновенная, на мой взгляд, повесть Распутина «Последний срок» во Франции вышла с очень трогательным переводом «Матушка» — В.М.) На немецком языке выходили книги. Они, кстати, одними из первых всегда издают что-то новое. В Испании выходили книжки. В Италии. В Скандинавских странах: Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии. В бывших соцстранах...

**— Ну, в общем, Америка и Европа читала, значит, ваши книги.**

— Ну, насчёт того, что «читала», не знаю. Но то, что и Америка и Европа мои книги видела — это точно.

**— А в Японии были ваши переводы?**

— Да, выходили книги и на японском, и на китайском языках.

— Валентин Григорьевич, у меня тогда такой вопрос. Пишете вы ведь, в основном, о сибиряках. И интерес к сибирякам, как к людям особого склада души, понятен, скажем, у нас в стране, ну, в Европе ещё. Но чем объяснить тогда популярность ваших книг в той же Японии, Китае? Это ведь совершенно другие цивилизации. Другой менталитет. Совершенно другой стиль жизни.

— Стиль-то, может быть, и другой. А человек-то, в сущности, везде одинаков. Будь он японец, африканец или сибиряк. Всё то же самое у него есть. Те же самые чувства. Та же самая душа, очевидно. Так же физически он сложен. Те же самые руки, ноги. Так что, когда речь идёт не о местных проблемах, а о Человеке — это интересно всем. Точно так же, как нам интересна латиноамериканская литература, когда она касается человека. Тем более, когда она национальна. Тут очень важно ещё это вот качество — национальность литературы. А отнюдь не интернациональная, всеобщая — никакая значит, писанина. Интернациональная литература, то есть та литература, которая выражает качества какого-то общего человека, говорит, в общем-то, об общем человеке, как о жителе Земли, оттого она и менее интересна, потому что все эти общие качества мало кого интересуют по-настоящему. И вся эта общность, открытость — она почти любого человека мало трогает. А вот то, что представляет тайну, то, что представляет нечто неповторимое, национальное, на других непохожее — всегда более интересно. Поэтому и для нас, например, как я уже сказал, интересна и латиноамериканская или японская литература. Особенно, когда она национальна. А когда она начинает подражать американской — фактически лишённой национальной окраски — литературе или европейской — она сразу становится менее интересной. Вот чем сейчас вызван такой огромный интерес к латиноамериканской литературе?..

— **Вы имеете в виду Маркеса?**

— И Маркеса. И Борхеса. И других. Они интересны именно тем, что это глубоко национальная литература. Колумбийская, аргентинская. Точно так же и американская литература, Фолкнер, Гарднер, скажем, когда она говорит о каких-то особенностях американского характера, быта, верований и всего, что связано с этим. Скажем, американская история, она не столь давняя, как японская или российская, но, тем не менее, и у американцев есть уже какая-то своя история, свой этнос. Есть свои обычаи и традиции. Они сложились. Успели сложиться за эти двести лет. И традиции коренного населения Америки — индейцев, и привезённых из Африки рабов, и белых переселенцев из Европы. Поэтому и есть о чём писать. И такая литература интересна. А у Фолкнера этот историзм есть.

— Кстати, сам Фолкнер говорил, что никогда не описывал события, которые бы выходили за пределы его родного штата Миссисипи, который на карте Америки занимает место не больше почтовой марки. И почти все события происходят у него, в вымышленном им графстве Йокнэйпатофа (некоторые литературоведы считают, что он придумал это название — которое с индейского переводится приблизительно как «Тихая река», — после того как прочёл книгу Шолохова «Тихий Дон») и сотканы поистине из продуктов человеческого духа... Извините, что я отклонился от нашей беседы. Я вот ещё о чём хотел вас спросить. Какая из повестей, написанных вами, для вас самая любимая?

— Какая наиболее любимая-то? Трудно сказать. Все повести в той или иной мере любимые. А вот, если оценивать по литературным качествам, наиболее уда-

лась, по-моему, повесть «Последний срок». (Повесть «Последний срок» впервые была опубликована в 1970 году в журнале «Наш Современник». Автору тогда было 33 года.) Она у меня получилась как-то очень естественно. Скажем, неплохая, очевидно, повесть и «Прощание с Матёрой», но я-то знаю, потому что сам её писал, некоторую её сделанность, что ли. И я помню, с каким трудом она мне давалась... А труды трудам рознь. Есть труды рабочие. А есть труды под вдохновение. Есть труды, что называется, под движением, под давлением. «Матёра» мне больше досталась под давлением, когда я заставлял себя писать. Да, там, конечно, проблем больше, чем в «Последнем сроке», но проблемы не должны всё-таки, на мой взгляд, превалировать над какой-то естественностью. «Последний срок», пожалуй, более естественная книга, чем все остальные. И потому она мне особенно дорога.

— **Согласен с вами. Эта повесть — она, как дыхание. Как лёгкое дыхание. Я думаю, что здесь вполне уместно это сравнение с одноимённым рассказом Бунина «Лёгкое дыхание». И я, честно говоря, завидую тем, кто будет читать эту книгу впервые. Во всяком случае, у меня эта ваша повесть пробудила столько прекрасных и неведомых мне до того чувств. И сострадание, и любовь к жизни, и восхищение силой человека перед лицом смерти. А какой в ней хороший, добрый юмор...**

— Действительно, эта повесть, я очень хорошо помню те свои восторженные ощущения, когда написал её, будто бы сказала у меня. Не пропелась, а именно сказала. Пропелась — это нечто всё-таки другое... И как будто бы она заранее не готовилась, не просилась из души моей на бумагу. И труды особые для её написания не прилагались. А просто под вдохновением сказала и всё. Вот такое от неё у меня ощущение осталось...

— **Помните, как о подобном состоянии хорошо сказано у Георгия Иванова? «А что такое вдохновенье? Так... неожиданно, слегка. Сияющее дуновенье божественного ветерка. Над кипарисом, в сонном парке взмахнёт крылами Азраил. И Тютчев пишет без помарок: «Оратор римский говорил...».**

— Да, лучше, пожалуй, и не скажешь. Хотя, Азраил, насколько мне известно, это ведь ангел смерти, помогающий людям перейти в мир иной. А Тютчеву он, значит, помог перейти в бессмертие.

— **Но Азраил ведь ещё держит в руке и свиток с записанными в нём делами людскими — добрыми и злыми. А ведь делами своими, ибо сказано судите дерево по плоду его, человек только и может оправдаться или не оправдаться перед Творцом. А для пишущего человека основное его оправдание — его книги. Хотя, это и очень одинокое занятие, вы не находите? Вы, кстати, Валентин Григорьевич, частенько испытываете одиночество?**

— Нет. Я никогда не страдаю от одиночества...

— **Может быть, это оттого, что даже когда вы один — вы всё равно не один, а со своими героями, живущими в вас?**

— Возможно...